

Послевоенный Ленинград

А между друзьями сновали враги...

Вернувшись из Астрахани в Ленинград в конце лета 1945-го г., мы жили одно время в какой-то каморке в Академии Художеств. Родители доучивались на последнем курсе. По окончании Академии, отец получил работу в Эрмитаже по специальному запросу заведующего отделом графики Эрмитажа, Владимира Францевича Левинсона-Лессинга, одного из своих профессоров. А мама начала преподавать историю искусств в средней художественной школе при Академии и одновременно училась в аспирантуре у профессора Михаила Константиновича Каргера. Мамин отец, Виктор Николаевич Корнилович, к тому времени женился во второй раз и переехал к своей новой жене, а мы перебрались в дедушкину довоенную квартиру в некогда очень фешенебельном районе города, на бывшей Сѣргиевской улице, недалеко от Таврического сада. В советское время Сѣргиевская была переименована в улицу Чайковского, не в честь великого композитора, а в честь какого-то никому неизвестного революционера. Родители дедушки умерли в блокаду, а квартиру, естественно, заселили. Незаселённой оставалась только бывшая бальная, которую в былые времена открывали раза два в год. Это была огромная комната, скорее даже зал, со множеством окон; с потолком, где в небесах порхали амурчики; с остатками тиснёных ультрамариновых атласных обоев; с хрустальными люстрами; с двумя дверями и двумя отделанными белым мрамором каминами. Вот тут-то, в этой обшарпанной роскоши, и должны были жить два семейства: дедушкин младший брат Олег Николаевич с женой и двумя дочерьми и мы. Зал перегородили посредине старинными высокими дубовыми шкапами и буфетами, что проблемы отнюдь не решало. Жена Олега Николаевича вскоре с ним развелась и выехала с детьми куда-то. Олегу Николаевичу удалось выхлопотать для себя где-то комнатку, а мы ещё какое-то время бедствовали в этих остатках обветшалого прошлого.

А тем временем в квартире шла насыщенная приключениями жизнь. За кухней, в бывшей кухаркиной комнате, проживал следователь милиции по имени Романов со своей сожительницей. Сожительница была болтлива, за что ей, вероятно, часто и попадало – время от времени она ходила с фонарём под глазом. Готовя суп на своём примусе на кухне, она иногда жаловалась, что Романов (она звала его только по фамилии) – «большой эгоист» и скор на руку. «Они, следователи, все такие эгоисты», объясняла она. В бывшем дедушкином кабинете теперь жили две сестрицы, которые каждую ночь водили к себе «поклонников». Впрочем особого шума

они не устраивали и мало кому мешали. В квартире против них ничего не имели, поскольку женщины они были тихие и услужливые. А напротив, в бывших смежных детских моей мамы и её брата, поселился разжалованный и выброшенный из органов полковник Березнёв с двумя жёнами и многочисленными детьми. Как между детьми, так и между жёнами ежедневно шли ожесточённые бои, которые иногда выплёскивались за пределы комнат в коридор и на кухню. Сам Березнёв, за редким исключением, в боях участия не принимал и редко выходил из своей штаб-квартиры. Однако в субботу вечером он, одетый в свою бывшую кагэбешную форму и при погонах, куда-то уходил, а к ночи неизменно возвращался в сопровождении какого-нибудь офицера армии или военно-воздушного флота, который таинственным образом исчезал на следующий же день. И вот однажды где-то в два часа утра жильцов квартиры разбудил чудовищный гвалт, стук, крики и мат. Высунувшиеся из своих дверей перепуганные жильцы обнаружили, что дверь Березнёва штурмует несколько военных во главе с пожилым генералом, отчаянно матерящимся. Через несколько минут крепость пала. Из неё выволокли за шкуру Березнёва. При этом генерал, не стесняясь в выражениях, пообещал Березнёву, что упечёт его в такие места, откуда его «сам чёрт» не вызволит. Ивинившись перед жильцами за беспокойство, генерал объяснил, что Березнёв, который, по его словам, мог запросто пойти под расстрел за незаконное ношение погон, по субботам ходил по ресторанам в полной форме, подсаживался за столики к сильно подвыпившим военным или лётчикам, вступал с ними в дружеские беседы, пел с ними фронтовые песни, выпивал с ними в честь победы над фашистами, а затем уводил к себе одного из них, якобы позволившего себе неуважительно высказаться по поводу советской власти, и требовал выкупа. Каковой на следующий же день и получал от перепуганных родственников. Но в эту субботу Березнёву сильно не повезло, и отец капитана, которого он к себе привёл, оказался не только генералом, но ещё и дважды героем Советского Союза. Вместо выкупа генерал привёл с собой чуть ли не целое отделение солдат, чтобы освободить сына «боем». По-видимому, он сдержал своё обещание упечь Березнёва в места весьма отдалённые, так как больше мы нашего злополучного предпринимателя никогда не видели. А вскоре исчезли и оба его семейства, комнаты некоторое время стояли опечатанные, а потом туда вселили новых, ничем не примечательных жильцов.

Жили мы в страшной нищете. Мизерной зарплаты младшего научного сотрудника Эрмитажа и почасового преподавателя художественного училища хватало не надолго. Из этих же грошей отец платил алименты своей первой жене на содержание дочери. Чтобы прокормить семью, отец вскоре начал работать по ночам строительным рабочим на восстановлении Эрмитажных зданий.

А меня отдали в круглосуточный детский сад. Меня оставляли там на всю неделю и забирали домой только в субботу вечером. Я мало что помню об этом детском садике. Помню, что моя кровать стояла у стены с облупившейся и потрескавшейся штукатуркой. Днём, во время тихого часа, я не спала, а всё время щурилась на эти пятна и разбежавшиеся по стене усики трещин, и они принимали всевозможные фантастические очертания. Тут были и верблюды, и великаны, и дворцы, и всякие прочие чудеса из сказок Гауфа, Перро и братьев Гримм, которыми набита была моя голова. Это меня занимало. Но когда нас укладывали спать по вечерам и свет выключали, я часто потихоньку плакала, укрывшись с головой одеялом. Мне хотелось к маме.

Справедливости ради должна сказать, что обращались с нами в детсаду вполне хорошо, играли с нами в разные массовые игры и даже читали нам всякие книжки про Чука и Гека, про Павлика Морозова и про детство Ильича. Как сейчас помню одну иллюстрацию, на которой изображался кругломорденький такой «маленький Володя», с курчавыми белёсыми волосиками, прятавшийся от своей мамы под диваном. Чтобы не огорчать свою славную воспитательницу, мы делали вид, что верим, что этот мальчик и есть «наш Ильич». Но про себя-то мы думали (во всяком случае, я так думала), что её, бедную, кто-то обманул – ведь этот девчонкообразный пупсик совсем не похож был на лысого дяденьку с остренькой бородкой, которого вывешивали на праздники на Дворцовой площади.

Кормили нас тоже, наверное, хорошо по тому времени. Даже давали по яблоку в день. Из яблока при этом вытаскивали гвоздь, который туда втыкали накануне. Воспитательница объясняла нам, что таким образом дети получают железо, которое помогает им расти. Нам это казалось нелогичным. Коричневая дырка из-под гвоздя придавала яблоку противный вкус, но не делала его железным. Один из мальчишек заявил, что хочет обязательно вырасти выше своего папы, и поэтому решил грызть самый гвоздь – ведь он, мол, железный. Что он и попробовал сделать к ужасу нашей воспитательницы, чуть не обломав себе зубы. Молока в Ленинграде практически не было. В детсаду нам давали пить разведённую тёплой водой американскую сгущёнку. Я её терпеть не могла, потому что не любила ничего сладкого. А другие ребята пили с удовольствием. Но противнее всего был, конечно, рыбий жир. Нас заставляли его пить каждый день. Столовую ложку перед обедом. Надо было обязательно зашипнуть двумя пальцами нос и не дышать, чтобы не так мерзко было. Но это, честно говоря, мало помогало. Есть после этой гадости совсем не хотелось. Вообще мне горздо больше нравился наш неизменный домашний рацион: варёная картошка, жареный на подсолнечном масле лук, чёрный хлеб и иногда пшённая

каша. Всё это, правда, имелось в очень малом количестве. В субботу и воскресенье вечером, когда я ночевала дома, мама потихоньку подсовывала мне под одеяло корочку чёрного хлеба, которую она для меня сберегала. То есть, не под одеяло, конечно. Одеяла у меня не было лет до четырнадцати. Я спала под старой дедушкиной шинелью. И всегда укрывалась с головой. Так, вроде, было теплей. И как уютно было засыпать под тихий разговор родителей, их осторожные шаги, звяканье чайной ложечки об стакан, чирканье спичек, шелест переворачиваемых страниц ... И само это состояние засыпания, постепенного погружения в какую-то сладостную дрему. Сначала ноги. Вот они делаются лёгкими, невесомыми, но в то же время и пошевелить ими уже нельзя, потом дрема обволакивает всё тело, подбираясь выше и выше, к подбородку, к глазам... И вот в этот последний момент всегда происходило чудо – подо мной открывалось тёмное и тёплое, как бы опрокинутое, бездонное ночное небо, по которому медленно плыли не облака, а непрерывно сливавшиеся в островки многочисленные разноцветные звёздочки-огоньки, и сама я стояла на одном из таких островков, как на плоту, и плыла куда-то... А дальше уже ничего не было. Было утро, и меня будили. Если сны мне тогда и снились, то я их никогда не помнила. Это потом, когда жить стало страшно, мне стали сниться тревожные сны, которых я не могла забыть, и самое ужасное - они иногда повторялись. Я и сейчас боюсь снов, которые не забываются. А то любимое, дремотное, звёздное ушло навсегда уже годам к восьми. Много лет спустя, уже живя здесь, в Америке, я полюбила крошечные разноцветные рождественские огоньки на ёлке именно потому, что они напоминают мне то моё детское чудо. Когда все в доме уже засыпают, я ещё подолгу сижу одна в тёмной гостиной и, прищурясь, смотрю на эти ёлочные звёздочки. И хотя они и не сливаются в островки и никуда не плывут, но душа и тело у меня наполняются покоем и дремотой.

К лету меня из садика вообще забрали, и я не стала спрашивать почему. Как мама мне сказала как-то позднее, у моей воспитательницы «были виды» на моего папу. Некоторое время, пока мамина двоюродная тётя Оля жила в нашей квартире, меня оставляли дома, и она за мной присматривала. К тому же в доме было много старух, которые все сообща присматривали за играющими во дворе или на улице многочисленными ребятами. То и дело из окошек неслись окрики: «Ты зачем Таньку за косы дёргаешь, а? Вот я матери-то скажу!», или «Куды без пальта-то побежала? А ну надень, а то щас сойду – хуже будет».

Игрушек ни у кого не было, но и во дворе, и на улице развлечений было хоть отбавляй. То бывало во двор забредёт старьевщик, непременно татарин, со своими немисливо огромными

заплечными тюками, нараспев выкрикивая: «Халат...Кость... Тряп... Бумаг... бутылк... банк...стар вещ... покупаю...» И старухи тащили ему всякое ни к чему не пригодное старьё, а он платил им какие-то медяки. А то заходил точильщик с точильным станком на спине: «Тачи-ить нажи – ножницы... тапары-- пи-илы »! Точильщик жал ногой на педаль, точильный камень крутился с молниеносной скоростью, из-под з-з-звенящ-щ-щих и с-с-вистящ-щ-щих лез-з-звий летели фонтаном искры. ..Мы стояли как заморожённые и не могли оторвать глаз от волшебного зрелища. А бродячий стекольщик с о стёклами в ящике за спиной! Как он, измерив окно, ловко резал стекло какой-то штукой, похожей на карандаш, и прилаживал его к оконной раме! Но всего интересней были бродячие музыканты, каждый почему-то неизменно в затёртой гимнастёрке и на деревянной ноге. Зайдёт бывало вот такой, станет посреди двора, положит перед собой не землю заношенную пилотку или жестяную консервную банку и, играя на гармонии, заведёт какую-нибудь щемящую сердце песню:

Как служил солдат службу царскую,
Службу царскую, да службу долгую.
Двадцать лет служил, да ещё пять лет...

Из окон бабки кидают монетки, а мы подбираем их и складываем инвалиду в пилотку.

-Дядь! А ты весёлые знаешь?

-А то ...

Вот так милка – что за чудо,
Одни сиськи по два пуда...

Тут уж бабки машут на него руками: «Иди давай отсюда, охальник! Не стыдно при детях-то!» Он хитро подмигивает нам и, проворно собирая свои медяки, ковыляет вон на своей деревянной ноге. А мы бегаем за ним по дворам, пока нам не надоедает слушать одни и те же песни.

На улице тоже было не без музыки. Раз в неделю по Чайковской шагали колоннами солдаты со свёртками из газет под мышкой – это их вели в общественную баню в нескольких кварталах от нашего дома. А в свёртках, сообщали бабки, чистые кальсоны и портянки. Солдаты шагали в ногу. «Лéвай, лéвай, лéвай!» А, чтобы идти было веселее, они пели. Из строя выскакивал запевала и, шагая задом впереди колонны и размахивая руками, весело заводил:

-Расцветали яблони и груши...

-Поплыли туманы над рекой...,- бойко подхватывала колонна. Запевала вскакивал обратно в строй. По бокам и позади колонны бежали ребяташки, провожая солдат до самой бани.

Бывала , конечно, и другая музыка. По нашей же улице минимум раз в неделю шествовали похоронные процессии. Покойников тогда ещё возили на кладбище не на машинах, а на белых катафалках, которые тянули белые же лошади. За ними шли усталые люди, иногда заплаканные. А позади, стоя в кузове медленно ползущего грузовика, духовой оркестр играл похоронный марш. Мы следовали в хвосте процессии несколько кварталов. Дальше нам идти не хотелось, потому что кладбище было далеко. И ещё потому, что мы все боялись покойников.

А ещё мы ходили в Таврический сад ловить пиявок. С одной стороны сада вместо ограды была какая-то канава, и в ней водились примерзкие жирные пиявки. Мальчишки, стоя по щиколотку в тинистой стоячей воде, собирали пиявок в банки и носили двум старухам в нашем доме, которые убеждены были в пользе этих гнусных тварей для всяких своих немощей. Потом мы смотрели как баба Клава из шестой квартиры прикладывает пиявки к своей ноге, и они тут же к ней присасываются. Смотреть на это было противно и немножко жутко, но всё равно интересно. Вообще бабки активно занимались самолечением и лечением родственников и соседей. Когда мы дети простужались, нам давали малиновый чай и наваливали кучу пальто поверх одеяла, если таковое имелось. Это чтобы потели, потому что с потом, мол, выходит и «зараза». А на случай бронхита имелись горчичники. Горчица была зверская, и после такого лечения к красной обожжённой коже ещё долго было больно прикасаться. А однажды я видела как тёте Оле, заболевшей воспалением лёгких, соседка ставила банки. Как сейчас помню это страшное и заораживающее зрелище: к тётюлиной спине приклеили какие-то штуки , то ли с фитилями, то ли со свечками, которые зажгли, а сверху накрыли стеклянными колпачками, так что они стали похожи на крошечные керосиновые лампы. И так она и лежала с этими горящими на её спине штуками. Уже через несколько минут у меня не выдержали нервы, и я убежала.

В остальное время мы играли во дворе. Мальчишки, вооружась палками, они же пистолеты-автоматы-пулемёты, играли в войну и с криками «Вперёд, ребята! Урра-а-а!!» убивали и брали в плен «фрицев». Или играли в круговую лапту. А девчонки играли в «дочки-матери» и в «магазин». А то прыгали через скакалку или веревку.

В сентябре уже пошли дожди и стало рано темнеть . Тётя Оля поступила медсестрой в больницу и переехала на другую квартиру на Васильевском Острове, так как сын её, полковник Кучеров, вышел в отставку и уехал с женой и сыном в Феодосию. В семье тёти Оли все мужчины были профессиональными военными. Сама она была дочерью белого генерала Петра Алексеевича Маркова, расстрелянного красными в 1921 г., и женой белого генерала Кучерова, умершего во французской эмиграции в 1942 г. Это была сильная статная женщина, на голову выше моего отца, зачастую выражавшаяся весьма неэлегантно. Трудно было себе представить, что когда-то она была «институткой», кончала Смольный институт. Во время Первой, да и Второй, мировой войны она работала медсестрой, а в 1917-м г. служила, согласно семейным преданиям, в Первом петроградском женском батальоне смерти, что вполне соответствовало её внешности и характеру. Старшего сына Ольги Петровны, Алексея, разумеется, посадили в 36-ом г., и его то ли расстреляли, то ли он умер в лагере. Во всяком случае о нём в семье говорили как о «невинно убиенном», как и о маминой маме и мамином брате Игоре. А младший сын Ольги Петровны - Николай благополучно служил в советской армии и вышел в отставку в чине полковника. Одно время я жила у тёти Оли на Васильевском острове. По вечерам, уложив меня спать, она у себя за занавеской истовым шопотом молилась перед иконами, стучая лбом об пол: «Господи, укроти Ты ярость мою....». Или: «Святой Николай-угодничек, наложи печать молчания на уста мои – болтаю много лишнего...». Потом она долго плакала и бормотала имена погибших любимых, прося Господа упокоить души невинно убиенных, и наконец, кряхтя, укладывалась в постель. Сердце у меня разрывалось от жалости. Мне хотелось забраться к тёте Оле на кровать, прижаться к ней и утешить её, но я знала, что женщина она суровая и сентиментов не любит. Прошло очень много лет прежде чем я поняла, что от детской ласки люди, перенесшие такие невыносимые страдания как мой дедушка и тётя Оля, могли просто умереть. Не выдержало бы зажатое в кулак сердце.

Так или иначе, с тёти олиним переездом, оставлять меня дома уже было нельзя. Родители были вечно заняты. Меня нужно было куда-то девать. Отец стал брать меня с собой на работу в Эрмитаж. И тут уж я была под постоянным присмотром. Ведь в Эрмитаже было несметное число вахтёрш. Все старушки, и все «из бывших». Больше их, видно, никуда на работу не брали. Это были странные существа, какие-то инопланетяне, очень благовоспитанные, всегда подтянутые, даже изящные, хотя все они и носили одинаковую тёмносинюю форму. Старушки обожали свой Эрмитаж и знали каждый зал, каждую картину, скульптуру, каждое резное кресло, каждый мозаичный столик. Тем не менее, сидеть целый день на одном месте было, конечно, скучно и

утомительно, и шестилетний ребёнок, бродивший по залам Эрмитажа, их развлекал. Старушки даже полюбили моего отца за то, что он приводил меня с собой.

Иногда за мной приходил дедушка Виктор Николаевич и брал меня к себе на несколько дней. Я очень любила своего дедушку. Дедушка был высокий и, как мне казалось, очень красивый, хотя и сильно пожилой. Он носил морскую офицерскую форму, так как был профессором Военно-морской Академии. В штатском я его никогда не видела. Свои пристежные воротнички, как и белый чехол своей фуражки, он непременно стирал, крахмалил и гладил сам - «бабке», как он, шутя, называл молодившуюся Полину Ивановну, он в этом деле не доверял. И только мне одной, к неудовольствию бабки, позволял он чистить мелом свой любимый серебряный подстаканник и любимую серебряную ложечку. По вечерам, сидя в кресле-качалке, дедушка рассказывал мне «Конька-Горбунка», которого знал наизусть, или басни Крылова. Басни, правда, звучали примерно так:

Дитяте мать расчёсывать головку купила частый гребешок.

Дитяте в нём и рвался и метался, а голубь молодой над ним же издевался:

«Не стыдно ль, - говорит, - средь бела дня попался».

Мартышка тут от злости и печали о камни такхватила их,

Что только искры засверкали.

«Тфу, про́пасть – говорит, - и тот дурак, кто слушает людских всех врак!» и

т.д.

Дедушка жил в Канонерском переулке недалеко от Никольского собора и часто туда ходил. Несколько раз он брал меня с собой. Карманы у него всегда были полны мелочи, которую он раздавал нищим. Перед собором, по обеим сторонам дорожки, ведущей к паперти, как и на самой паперти, толпились просившие подаяния «Христа ради» старики, старухи и одноногие инвалиды Великой Отечественной войны на костылях, а то и вовсе безногие на досточках с колёсиками. Руководству страны победившего социализма они, видно, были что бельмо в глазу. Где-то к началу 50-х годов улицы Ленинграда были полностью «очищены» от всех этих «тунеядцев». Поначалу люди ещё шептались о том, что их как-будто выселили куда-то за двести километров от городской черты. А потом мы все о них попросту забыли.

С глаз долой – из сердца вон. Или, вернее, из общественного сознания.¹ Но в 56-м году, когда я впервые прочитала «Стихотворения Юрия Живаго» из ходившего тогда по рукам ещё неизданного романа «Доктор Живаго», строки из стихотворения «На Страстной» живо напомнили мне о них:

И март разбрасывает снег
На паперти толпе калек,
Как будто вышел человек,
И вынес, и открыл ковчег,
И всё до нитки роздал...

Однажды мы с дедушкой пришли в Никольский собор, когда там отпевали какую-то покойницу. Одета во что-то вроде серебристой ризы, она лежала в гробу на возвышении перед алтарём, с венчиком на восковом лбу и иконой в восковых руках. Вокруг стояли люди с заплаканными лицами. Над ними плыла пелена голубоватого дыма от каждения. В какой-то момент в отблеске свечей мне показалось, что покойная шевельнулась. Я в ужасе вцепилась в дедушкину руку. Но он отнял руку и начал быстро креститься и что-то бормотать. По щекам его текли крупные слёзы. И мир обрушился на меня и придавил меня всей своей тяжестью. Когда вышли из церкви, я сказала дедушке, что мне очень страшно. Он взял меня на руки и прижал к себе. С этого дня он меня в церковь больше не водил. И, может быть, только через десять лет я сама стала иногда ходить в церковь.

Именно с дедушкой я в первый раз побывала и в цирке. Это был какой-то совсем волшебный мир. Медведь ездил на велосипеде, тигр прыгал через огненное кольцо, акробаты взлетали под купол, красавица-наездница в розовом трико и юбочке с блёстками выделявала виртуозные трюки. Сердце всё время замирало от ужаса и восторга. Но Вяткин со своей Манюней всё же были мне больше по сердцу. Они были такие уморительные! Только я до сих пор не знаю, эта Манюня действительно была такая длинная-предлинная или она была составлена из двух такс.

¹ Спешу добавить, что, в отличие от этих «тунеядцев», тех инвалидов, которые ещё своим ходом ходили, никто не выселял. Наоборот в это самое время для них по всей стране создавались сотни специализированных производственных предприятий, позволявших им «вносить свой вклад в созидательный труд советского народа по строительству светлого будущего». Так, в Ленинграде недалеко от Эрмитажа, рядом с Гос. Хоровой Капеллой на Мойке открыли тогда «Щёточно-кистевязную артель инвалидов им. Щорса», где вышеупомянутые самоходные инвалиды выполняли и перевыполняли план по производству кистей, щёток и швабр, которыми пользовались трудящиеся женщины в свободное от трудовой деятельности время.

Дело в том, что между головой с передними лапами и хвостом с задними проходила белая картонная труба.

Осенью 1948 г. я пошла в первый класс. Учительница Татьяна Ивановна была убеждена, что я безнадежная тупица. В первый и единственный раз, когда моя мама пришла на родительское собрание, Татьяна Ивановна, которая говорила, что с «детьми» управиться трудно, потому что они «ихные пólьта и шапки» бросают «куды пóпадя», объяснила маме, что во второй класс меня вряд ли переведут, потому что я по чтению «неуспеваю». Я действительно «неуспевала». Дело в том, что нас учили читать по букварю: «Ма-ма мы-ла Лу-шу. Лу-ша ма-ла». Картинки в букваре были добросовестные, многоцветные, но всё равно убогие. А читать по складам про то как мама мыла свою Лушу было скучно. У меня всегда была с собой какая-нибудь страшно интересная книжка, которую я читала под партой, просто и не замечая, на какой стадии мытья находится эта самая краснощёкая Луша в каждый данный момент урока. Я уже с четырёх лет умела читать, и дедушка приносил мне интересные книжки с картинками в дореволюционном издании серии «Золотая библиотека», которые он выискивал на барахолке. То «Голубую цаплю», то «Маленького лорда Фаунтлероя», то «Серебряные коньки». И были у нас ещё немногие чудом не сожжённые в блокаду книги маминого детства, и все с картинками. Тут Золушка спешила на бал в золотой карете, круглой как тыква, Маленький Мук с ослиными ушами горестно смотрел на своё отражение в пруду, косматая Баба-Яга летела в ступе над лесом, замечая следы помелом, и нехорошая девочка наступала на хлеб, чтобы не запачкать свои новые туфельки. В этом сказочном мире всё было просто и понятно.

А вот за его пределами жизнь становилась страшной и непонятной. Значение того, что с нами тогда происходило, мне стало ясно уже много лет спустя из рассказов родителей. Всё началось с того дня, когда мою маму вызвали в деканат. В деканате её ожидали двое «искусствоведов в штатском», как называл их мой отец. Последовал долгий разговор, во время которого маме объяснили, что от неё ожидают, нет, даже требуют, «сотрудничества» в деле выяснения и, соответственно, «фиксирования» идеологически враждебной и опасной деятельности Льва Николаевича Гумилёва – её близкого и давнего друга. Она категорически отказалась. На это ей заметили, что она, очевидно, сама сочувствует антисоветской деятельности Гумилёва, что и естественно, поскольку её брат и мать тоже были, как известно, врагами народа. Если она не одумается, то будут приняты соответствующие меры.

Она не одумалась. Меры были приняты. Мама перестала ходить на работу и в аспирантуру. (Её попросту отовсюду повыбрасывали). Меня перестали водить в школу. Сначала мы обе ходили с папой на работу. Сидели у него в кабинете или в одном из закрытых внутренних двориков Эрмитажа, куда мы попадали, выходя через потайную дверь за каким-то экспозиционным ковром на третьем этаже, спускаясь по внутренней лестнице, а потом пробираясь через какой-то тёмный подвальный переход. Говорят, что подземные переходы под Эрмитажем, соединяющие его с другими зданиями города, относятся к области легенд. Соединяются ли они с какими другими зданиями Питера, я не знаю. И даже предполагаю, что это уже, возможно, и принадлежит к области мифов. Но что Зимний Дворец соединяется с несколькими прилегающими к нему эрмитажными зданиями подземными переходами – это я знаю достоверно.

Мы всюду ходили втроём. Мы никогда не расставались. У дедушки был старинный приятель, адвокат по имени Наум Наумович Талмазан. Он жил в нашем же доме, в квартире под нами, со своей дочерью Бэлой, тоже юристкой. Каким образом Наум Наумович уцелел в годы террора – неясно. А, может, он и отсидел своё. Просто я ничего об этом, к сожалению, не знаю. Во всяком случае, Наум Наумович сказал, что органы маму в покое не оставят, и что её обязательно вызовут в Большой Дом. Но дела на неё никакого нет – они просто хотят её завербовать. Поэтому задача её, по словам Талмазана, состояла в том, чтобы повестку не получать. Потому что, раз получивши такую повестку, человек не мог не явиться в Большой Дом. Но как её не получать? А вот как. К телефону пусть сама не подходит, а вместо неё пусть трубку берёт папа. Почту на своё имя пусть никогда не вскрывает – пусть отец, не вскрывая, отсылает её назад адресату (а это всегда будет какое-то частное лицо, а не учреждение). Если маму будут вызывать в жакт, пусть отец идёт вместо неё. Одна пусть никогда ни дома не сидит, ни на улицу не выходит – только вместе с отцом. Отец им не нужен, им нужна мама. А, если и случится ей почему-либо оказаться одной на улице, и какой-нибудь тип подойдёт к ней и скажет «Пройдёмте со мной», чтобы тут же поднимала крик, что какой-то хулиган к ней пристаёт, и звала на помощь. Таких скандалов «они» не любят, и этот тип тут же испарится.

Всё происходило именно так, как и предсказывал Талмазан, и мои родители неуклонно следовали его советам. Именно потому мы трое и не расставались. Однажды маму вызвали в жакт, причём вечером, уже в нерабочее время. Отец пошёл туда вместо неё. Когда он вошёл, один из сидевших в конторе искусствоведов в штатском растерянно спросил: «Вы товарищ Корнилович?». «Да, чем могу быть Вам полезен?» Быстро нашедшийся незнакомец, не представившись, тут же

понёс какую-то ахинею по поводу того, что места общего пользования в квартире в антисанитарном порядке, и что квартуполномоченным, по сути дела, должен быть старейший квартиросъёмщик, и какую-то ещё муть в этом роде. Отец вежливо пообещал поделиться этими сведениями с остальными жильцами квартиры, после чего его так же вежливо отпустили. Как и предвидел Талмазан, приходили также письма и бандероли от каких-то незнакомых людей, и их отправляли назад нераспечатанными. Частые телефонные звонки тоже незамедлили последовать и, если соседи звали маму к телефону (телефон был коммунальный), то отец шёл вместо неё. И всякий раз, человек на другом конце провода неуверенно спрашивал, - «А вы разве товарищ Корнилович?» - и получив утвердительный ответ, он вежливо извинялся и говорил, что ошибся.

Каждый раз, когда звонил телефон, мама вздрагивала. И вот однажды папа, которого ближайший друг моих родителей, Дима Поляновский, прозвал «Великим Конспиратором», вышел ночью на чёрную лестницу, перерезал телефонный кабель между первым и вторым этажами (а мы жили на четвёртом) и затем аккуратно его замастиковал. И проклятый телефон молчал всю неделю, пока повреждение наконец не нашли.

Тем временем меня отправили жить к родственникам жены папиного покойного брата. Фамилия их была Кафьян. Наверное, это редкая фамилия, так как больше ни одного человека по фамилии Кафьян я в жизни не встречала. Фаня Соломоновна была тихая сухонькая и больная старушка, которая на меня вообще не обращала никакого внимания, но все время ворчала что-то себе под нос. Сын её был скрипач и играл в оркестре Кировского Театра. А так как Фане Соломоновне до меня дела не было, то дядя Боря брал меня с собой на репетиции и спектакли. Так что я некоторые из опер и балетов, ставившихся тогда в Кировском театре, видела и слышала по многу раз. Помню, что в первый раз, когда в «Пиковой даме» в зеркале появилось привидение графини, я оцепенела от ужаса. А во второй и третий я уже заранее перед этой сценой сползала с кресла на пол. «Демон» тоже, честно говоря, оказался не детской оперой и порядочно меня напугал. Вообще мне больше нравились балеты. Там красивые тётеньки и дяденьки молча летали над сценой под музыку и выделяли всякие удивительные фигуры. Только злая фея в «Спящей Красавице» была немножко страшная. Но я сказку-то уже давно знала наизусть и заранее предвкушала счастливый конец. А больше всего я любила макетную мастерскую. Там, под стеклянными колпаками, миниатюрный граф Альмавива карабкался на балкон к Розине, Садко плыл на своём корабле по голубым шёлковым волнам, Шамаханская царица полулежала в своём шатре на подушках. Да мало ли чего ещё...

А дома у Кафьянов было скучно. Мне отвели крошечный закуток около двери за занавеской, без окна и с тусклой лампочкой. Детских книжек в доме не было. На улицу меня одну не пускали. Единственным моим развлечением было радио – маленький транслятор. По утрам я лежала на диванчике, служившем мне постелью, и слушала передачу «Игра-загадка “Угадай-ка”»: «Кто загадки любит – тот нас и услышит. Кто их отгадает – тот нам и напишет»,- по очереди говорили вкрадчиво приятным голосом ведущая или ведущий. Загадки были интересные. И ведущий читал письма каких-то умненьких девочек и мальчиков, которые их отгадывали. Я чувствовала себя дура душой, потому что умела отгадывать только те загадки, которые я давно наизусть знала, вроде «Сидит бабка на грядке, вся в заплатках. Кто на неё глянет – всяк заплачет». А писем мне никому писать не разрешали. Днём тоже бывали детские передачи. Я очень любила передачу, где какая-то замечательная сказительница нараспев рассказывала сказки народов СССР. Почему-то мне особенно запомнилась одна нанайская что ли сказка про красивую девушку по имени Ёйогá. Каждый день красавица ходила на озеро. Склонившись к его зеркальной поверхности и вытягивая шею, она любовалась своим отражением и пела: «Красивая я, Ёйогá. Косы у меня самые чёрные. Губы у меня самые красные. Шея у меня самая белая.... Красивая я... Ёйо-гá ... Ёйо-гá ... гá ...га». Так вот она пела однажды у озера, да и превратилась в белую гусыню. И с тех пор всё плавает Ёйогá по этому озеру, горделиво вытягивая свою белую шею, и поёт: « ... Га-га-га...».

С Кафьянов начались мои скитания по родственникам в Ленинграде и в Москве. Наум Наумович считал, что ребёнка надо спрятать, поскольку компетентные органы никакими средствами не брезгают. У папы в Москве и под Москвой была куча родственников по материнской линии, и я жила у них у всех по очереди. У одних мне было плохо, у других – хорошо. Лучше всего мне было у папиного двоюродного брата Бориса Моисеевича Лейбзона. Дядя Боря был убеждённым коммунистом (каких только чудес на свете не бывает!), преподавал марксистскую философию в Высшей партийной школе, был близок к Суслову, а впоследствии стал одним из редакторов журнала «Проблемы мира и социализма». Женился он в своё время на простой девчонке Марусе, комсомолке-активистке. Теперь тётя Маруся, кажется, тоже преподавала марксизм, точно не знаю. Но всё это неважно. Она была красивая и добрая и, по моим представлениям, очень похожая на Василису Прекрасную, она же Василиса Премудрая. И была у них прехорошенькая дочка Алёнушка, которая, когда выросла, стала очень похожа на мать - такая же белокурая красавица, да только совсем «несознательная». Время уже было другое. Из всех родственников отца, у которых я жила, Боря с Марусей были единственными, кто были безоговорочно добры ко

мне. И в отличие от других папиных родственников, они никогда не говорили в моём присутствии, что мои родители «не умеют жить». Когда мы приехали к Лейбзонам в тот раз, за обедом между ними и моими родителями шёл возбуждённый спор о Китае, который почему-то очень нравился дяде Боре, и о социализме. Я, разумеется, ничего не поняла. Помню только, что в конце разговора дядя Боря вдруг негромко сказал: «Ребята, так нельзя. Вы так сгорите». А отец ответил: «Знаю – уже горим». И что-то стал ему рассказывать тихо, почти шопотом. А потом я явственно слышала как он спросил дядю Борю: «Ну, если совсем плохо будет, ты нам поможешь»? «Если совсем будет плохо, то, конечно, помогу». На этом разговор закончился. Потом родители уехали ночным поездом обратно в Ленинград, а меня оставили. Вспоминая теперь все последующие события, я иногда подозреваю, что, очень возможно, именно Борису Моисеевичу мы и обязаны тем, что выжили. Хотя, кто его знает? Ведь было ещё так много других людей, которые каждый по-своему помогали нам выжить.

Итак, родители уже действительно «горели». Во всяком случае земля у них под ногами горела. Им казалось, что круг замыкается, и мышеловки маме не миновать. Они предупредили всех своих друзей, что общаться с ними наверняка опасно. И все друзья, за исключением нескольких, приняли это на заметку. Но именно одна из этих нескольких, самая близкая мамина подруга, её и предала.

Когда-то я видела очень наивный американский фильм под названием «Red Fox». В нём сотрудники советских органов безопасности, в полной форме и вооружённые полуавтоматами, среди бела дня гонялись по Москве за какими-то то ли диссидентами, то ли шпионами. Так бывает, конечно, только в американских фильмах. В жизни же всё было совсем не так. Те, что подслушивали и подглядывали за нами; те, что ходили за нами по пятам; те, что поджидали нас в подворотнях и подъездах наших домов; те, что увозили нас «как тати в ночи» на чёрном вороне – все они ходили в штатском. Мало того, как сказал поэт Наум Коржавин,

Я думал, что видел, не видя не зги,

А между друзьями сновали враги...

Враги сидели за нашим столом, и мы делили с ними наш скудный хлеб. В маминой истории лучший друг обернулся врагом. Не хочу называть её имени. Однажды, кажется, в пятьдесят шестом году она приехала к нам из Алма-Аты, где она тогда жила со своим вторым мужем, и, рыдая, призналась во всём моим родителям. И мои родители её простили. Как сказала моя мама,

бедную женщину было чем шантажировать: отец её был репрессирован вместе с её матерью-англичанкой. Сама она преподавала английский язык в каком-то ВУЗе (может быть, в Академии Художеств, точно не знаю) и как дочь бывшей британской подданной была всегда на подозрении. А муж её, профессор, болевший какой-то страшной неизлечимой болезнью, от которой вскоре и умер, пристрастился к наркотикам.

История, по словам моих родителей, получилась такая. Поскольку мама не работала, денег катастрофически не хватало. Дедушка купил маме пишущую машинку «Олимпия», чтобы подрабатывать дома. Но дома ей оставаться одной, да ещё стучать на машинке, никак нельзя было. У подруги была маленькая, но отдельная квартирка, недалеко от Эрмитажа. Всех деталей я не знаю, да они и не важны. Она предложила маме, чтобы днём, пока она сама и мой папа на работе, мама сидела у неё в квартире и спокойно работала. В работе недостатка не было. Тогдашний директор Эрмитажа, Иосиф Абгарович Орбели, был в курсе всех событий. Он постоянно передавал через отца рукописи своих научных работ маме на перепечатку и щедро ей платил. Однако затишье продолжалось недолго. В один прекрасный день зазвонил дверной звонок. Мама на него не отозвалась. Она сидела и, затаив дыхание, прислушивалась. Звонок повторился. Потом в дверь начали стучать, и женский голос потребовал: «Откройте немедленно. Я инспектор из ОБХС. К нам поступили сведения, что у вас в квартире кто-то зарабатывает печатанием на машинке, а налогов не платит». Мама, всё так же молча, двинулась на цыпочках к двери. Стук прекратился. За дверью воцарилась тишина. Но звука удаляющихся шагов не последовало. И вдруг ключ в замке повернулся, дверь приоткрылась, и в ней показалась какая-то незнакомая женщина. Мама была уже у самой двери. Она вытолкнула женщину, захлопнула дверь и заложила засов. Всё это было делом одной секунды. Но та успела-таки подбросить маме повестку в Большой Дом. Мышеловка захлопнулась.

А дальше всё разворачивалось так. В назначенный день и час мама пошла в Большой Дом. Я в это время была у маминой старой няни Наташи Городецкой. Наташа работала дворничихой в доме, где она жила со своей семьёй, на Литейном проспекте, недалеко от Большого Дома. Проводив маму, отец полдня стоял в подъезде дома напротив и молился о чуде. И, видно, вымолил.

В своей замечательной книге «Дон Кихот на русской почве» Юрий Эйхенвальд рассказывает о двух своих тюремщиках, каждый из которых в какой-то момент неожиданно, как он говорит, «подчинился мгновенному импульсу жалости – не вообще к людям, а именно ко мне. И вот этот ни на чём не основанный, часто наказуемый, всегда бескорыстный импульс сострадания к

другому я и называю “каплей добра”. Это “капля”, потому что это – слеза. Слеза души по самой себе... Скажут, в истории России эти слезинки добра, скупые и редкие, - почти ничего. Но в жизни отдельных людей, обычно не тех, кто дарит, а кому дарят, капля добра иногда воистину совершает чудеса спасения». ² Вот именно одно из таких чудес спасения и свершилось в тот день.

Разговор (или это был допрос?), который продолжался несколько часов, вёл совсем ещё молодой офицер, который приложил много усилий, чтобы убедить маму в необходимости «сотрудничать с органами в таком важном для страны деле», переходя от уговоров к расспросам, к угрозам и шантажу. В какой-то момент он поинтересовался, как она умудрилась «попасть в такой еврейский кагал». Она, глядя ему прямо в глаза, спросила: «Как Вам не стыдно? Вы же сами еврей». Вот тут-то и произошло это самое чудо. Представьте себе, офицер покраснел и совершенно неожиданно сказал: «Ну, хорошо, я даю Вам время подумать». Он записал на бумажке свой телефон и вручил его маме. «Подумайте и позвоните мне по этому номеру. А теперь можете идти. Вас проводят». Её действительно «проводили». Она вышла на улицу как в каком-то тумане. Отец, ошалевший от радости, уже бежал через дорогу ей навстречу. Вот теперь скажите, не мог же этот кагэбэшник не понимать, что никогда она ему не позвонит и что он «отпускает её на волю». Что двигало им при этом? Стало ли ему на какую-то минуту стыдно? Или он «подчинился ни на чём не основанному, бескорыстному и наверняка наказуемому мгновенному импульсу сострадания» к этой красивой усталой женщине, импульсу, который описывает в своей книге Эйхенвальд? Как бы то ни было, эта «капля добра» действительно свершила «чудо спасения».

Родители, забрав меня от няни, поспешили к Науму Наумовичу. Он посоветовал маме на время «испариться». Он считал, что, поскольку дела на неё нет, федерального розыска на неё не объявят. Времени терять было нельзя. Но легко сказать – испариться. Куда? И как? И на какие «шиши», по любимому выражению моего отца. Какие-то деньги нашлись в тот же день. Кое-что дал дедушка, кое-что те же Наум Наумович и Иосиф Абгарович. Орбели посоветовал отцу, не отходя от директорской, подать заявление о трёхмесячном отпуске без сохранения содержания по состоянию здоровья, тут же на месте наложил на заявление резолюцию «Разрешаю» и послал его с этим заявлением к заведующей отделом кадров. Дома родители спешно собрали самое необходимое на первое время. Было решено ехать в одну глухую деревню за Старой Ладогой. В войну, в бою под Петрозаводском, отец был контужен в голову. После госпитализации, его признали временно негодным к строевой службе и отпустили на все четыре стороны. Именно

² Ю. Эйхенвальд, «Дон-Кихот на русской почве». Москва- Минск, 1996, стр. 9

тогда он случайно набрёл на эту забытую советской властью деревню, где теперь и намеревался нас спрятать. Об этой деревне мне хочется рассказать отдельно.